

*И.Ф. Салманова*

## **К проблеме исповедального начала в русской эпистолярной культуре**

Исповедь – творческий акт *само-становления, само-сложения, само-собираания*. Логической ее основой становится непрекращающийся внутренний диалог. В исповеди как изначально творческом пространстве неизменно предполагается наличие «другого», собеседника (умозрительного, метафизического, подсознательного, реального). Исповедь начинается с «великого спора во внутреннем доме» (Августин Блаженный). Феномен исповеди заключается в том, что она фиксирует, запечатлевает самый процесс мышления как творчества. Продуктивным движущим началом исповедальности становится не только способность взглянуть на себя со стороны, объективировать самого себя, но и вступить в диалог-спор с самим собой. «Спор этот шел в сердце моем: обо мне самом и против меня самого»<sup>1</sup>. Затем этот внутренний диалог «обрастает» голосами, раздающимися извне (небес или земли, мудреца или обывателя).

Внутри исповедального текста создается многоголосое пространство, требующее покаянного самообнажения не только перед Богом, но и перед лицом многих свидетелей, перед судом людским. С этого момента исповедь наполняется назидательным, учительским, проповедническим пафосом, а найденное, спасительное Слово становится активным, действенным.

Таким образом, исповедальное начало глубоко диалогично. Оно не сводится и не сводимо только к автобиографизму. В связи с этим истоки исповедального начала следует искать не только в автобиографических повествованиях и мемуарах, но и в дневниках, а также в переписке – промежуточном жанре, в котором изначально наличествует Собеседник.

Исповедь многосоставна по своему жанровому наполнению. Анализируя «Исповедь» Августина Блаженного, В.Л. Рабинович увидел в ее авторе парадоксальное сочетание и ученого-лирика, и учителя-псалмопевца, и поэта-гимнотворца<sup>2</sup>. Ученый проявляет в классической исповеди наличие и сложное сочетание разных жанров: исповедального плача, который превращает исповедь в «поэму плача», учительскую проповедь и дневник одинокой, уникальной души, научный педагогико-религиозный трактат и автопортрет поэта. Густая жанровая наполняемость исповедального текста весьма показательна и свидетельствует об особом исповедальном языковом синтезе, способном к разнообразным трансформациям и проявлениям в отдельных литературных и рубежных жанрах –

письмах, дневниках, автобиографиях, воспоминаниях. Многообразная целостность исповедального текста подобна самой жизни. Исповедь и есть текст жизни. Исповедальный текст – поистине словотворческая лаборатория, в которой внутренний человек обретает себя в Слове и через Слово.

Исповедальное начало с наибольшей интенсивностью проявляется в русской литературе вслед за европейской лишь в конце XVIII века, и происходит это, прежде всего, в так называемых «пограничных видах литературы – в письмах, дневниках, мемуарах, автобиографиях»<sup>3</sup>. Намеченная тенденция развития исповедального начала – от документальных жанров к собственно художественной психологической прозе – чрезвычайно важна. Знакомство с сочинениями Ж.-Ж. Руссо, с европейскими сочинениями исповедального типа, с «Исповедью» Августина Блаженного только усилило и углубило те процессы, которые постепенно складывались в недрах русской литературы. Особенно актуальным представляется разговор о *переписке* как об одном из важнейших документальных первоисточников исповеди. Наличие во всех перечисленных «пограничных» жанрах автобиографического элемента способствует, с точки зрения Н.Д. Кочетковой, развитию исповедального начала<sup>4</sup>. Однако исповедь зиждется не только на автобиографической основе. Исповедальное слово рождается в диалоге (полилоге), оно не может быть обращением в пустоту. В исповедальном тексте всегда незримо присутствует Другой, Собеседник, другое начало моего «Я». Без всепроникающего диалогического начала исповедь теряет жизнеутворяющую, созидательную силу и энергию.

Между тем необходимо отметить, что кульминация в развитии отечественной эпистолярной культуры наступает только в XVIII – первой трети XIX века, когда частная переписка начинает восприниматься как факт литературы<sup>5</sup>. Непосредственное влияние на отечественную эпистолярную литературу западноевропейской романистики, успевшей ввести исповедальность в разнообразные художественные жанры, очевидно. В это время наметилась совершенно иная тенденция развития – от художественной литературы к письму. «Романами» называли свою переписку, восходящую к литературе, питающуюся ею, люди XVIII в., чьи письма, не переставая быть средством связи, документом частной жизни, превращались в форму самопознания, самовыражения личности, форму освоения действительности»<sup>6</sup>. Теперь «литературность» обволакивает переписку, превращая ее в подобие литературной игры, а исповедальность облекается в форму художественных упражнений, становится «книжным» способом чувствования и самовыражения. Теперь исповедальность, подчиненная литературной моде, – предмет пароди-

рования. Ярким примером такой пародии может быть «Моя исповедь» Н.М. Карамзина, который подвергает сомнению важнейший принцип «исповеди»: предельную искренность. С другой стороны, опыт дружеской переписки остается благотворным, ничем не заменимым способом самопознания. Без дружеской переписки трудно представить дальнейшее развитие феноменальной русской психологической литературы с ее философской глубиной и всепроникающей исповедальностью. Мода на исповедальность не смогла поглотить главное – неистребимую потребность «объяснять себя», раскрывать, распахивать душу перед сочувствующим, понимающим Собеседником. Исповедальные эпистолярные беседы на протяжении длительного времени остаются уникальной сферой, проявляющей специфичность национального самосознания. Русскому человеку, как воздух, необходимо исповедальное общение. Исповедь как апология собственной личности не прижилась, не привилась на национальной почве, несмотря на увлеченность, поглощенность западной сентиментальной литературой. Этому способствовала и устоявшаяся, веками складывающаяся эпистолярная традиция, проявившаяся в огромном опыте древнерусских письмовников, челобитных, княжеских посланий.

Другой путь к эпистолярной исповедальности связан с агиографически-автобиографической традицией. Жития святых на долгие века стали главным воспитывающим чтением русского человека. Наиболее ярким примером проникновения диалогического начала в автобиографическое повествование может служить «Житие» протопопа Аввакума. Исповедальное начало в этом житии неоднократно отмечалось исследователями<sup>7</sup>. Однако хотелось бы заострить внимание на своеобразном диалогическом проявлении исповедальности в этом тексте. «Житие» Аввакума не просто «вырастает» из разнообразной переписки опального протопопа, оно органично вбирает, ассимилирует ее в своей структуре.

Двести лет спустя после Аввакумова «Жития» рождается книга, в которой исповедальное начало вновь органично включено в систему писем. Это «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Если «посланейца» Аввакума с трепетом ожидали и сочувствующие, и враги, то книгу Гоголя сочли заблуждением автора, проявлением его болезненного состояния. «Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства»<sup>8</sup>. Метаморфоза, произошедшая с Гоголем, была поразительна для всех, но только не для самого писателя, переживавшего в пору создания писем творческий кризис и мучительную внутреннюю духовную перестройку. Смеющийся, саркастический Гоголь для читающей публики вдруг превратился в человека, охваченного лишь собственной болез-

ненностью, предчувствием собственной смерти и видящего в российском бытии лишь скуку, тревогу, кризис, надвигающуюся катастрофу. На этом, разъединяющем всех и вся фоне раздавался голос Гоголя-проповедника, указующий соотечественникам из римского далека путь к спасению. Это звучало утопично, курьезно, наивно в устах того, кого совсем недавно считали властителем дум и несокрушимым критиком существующего порядка. Гоголя в его предсмертных исповедальных письмах-беседах соотечественники, за редким исключением, совершенно не поняли и не приняли. Гоголь был вынужден вслед разгорающимся беспощадным толкам о себе самом писать последнее письмо-обращение, которое уже после его смерти было названо «Авторской исповедью».

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» не увидели, не почувствовали и не приняли самого главного – исповедальности. «Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излишнее и души и сердца моего»<sup>9</sup>. Для нас, прежде всего, важен вопрос о том, почему Гоголь в тяжелейшем состоянии потери и обретения себя избирает эпистолярную форму? С одной стороны, это объясняется тем, что Гоголь находится в Риме, и ему необходима самая разнообразная информация о России, думы о которой остаются основополагающим смыслом его существования, его творчества. С другой стороны, именно письма становятся наиболее органичной формой для самопознания и самовыражения. Эпистолярную форму обращения к друзьям, а в их лице и ко всей России, Гоголь объясняет сам в главе XVI «Советы (Письмо к Щ....ву)»: «Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжкие страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой у меня никогда не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно»<sup>10</sup>.

В письмах, по сути, и рождается просветляющее и высветляющее все и вся исповедальное начало. Процесс создания писем формирует то диалогическое творческое пространство, которое провоцирует Гоголя на необходимость «всматривания» в самого себя, превращения себя в объект психологического анализа. И наоборот, «выстрадавшись», Гоголь чувствует моральное право наставлять, советовать, проповедовать.

Исповедальное, диалогическое в своей основе начало оказалось, как пишет в этом же письме Гоголь, «обоюдоострым»: «...обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдоострым! <...> Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. И имей всегда в предмете себя прежде всех»<sup>11</sup>.

«Исповедь» в классическом ее виде впоследствии удалась только Л.Н. Толстому, который был хорошо знаком и с западной, и с отечественной исповедальной традицией. К своей исповеди он подошел в результате сложнейшей творческой эволюции, однако формирование исповедального начала обнаруживается, прежде всего, в дневниках и в письмах Толстого. Многолетняя переписка с Н.Н. Страховым становится уникальным документом, предшествующим «Исповеди».

Переписка Л.Н. Толстого и Н.Н. Стрхова продолжалась двадцать шесть лет и насчитывает 467 писем. Исследовательский интерес к переписке обусловлен необходимостью проникновения в глубинную природу творческого диалога, который, при определенном «единстве воззрений на жизнь», «на известной высоте душевной не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным»<sup>12</sup>. Здесь мы имеем дело с диалогическим процессом «высвобождения» той духовной энергии, которая необходима обоим в сложный период их творческих исканий.

Структура переписки прозрачна и сложна одновременно. Ее внешняя канва, несмотря на многоаспектную насыщенность и разноплановость, может рассматриваться с точки зрения разных эпистолярных уровней, которые формируются и развиваются по ходу жизненных обстоятельств и отражают не только личные, творческие контакты Толстого и Стрхова, но и эпохальные перипетии. Переписка носила одновременно и деловой, и информационно-публицистический, и глубоко дружеский характер. Каждый из уровней переписки, безусловно, заслуживает отдельного исследования.

С нашей точки зрения, переписка интересна как обоюдный, глубоко творческий процесс взаимного постижения, проникновения во внутренний ход мыслей и чувств друг друга. «Занят я Вами беспрестанно» [2, 759]; «Но что бы я ни делал, я всегда о Вас думаю...» [2, 784]; «Всегда от Вас я получал освежение, всегда Ваши речи и все Ваше присутствие подымали меня; много я о Вас думаю и много люблю Вас, и потому видеть и чувствовать Вашу душевную жизнь лицом к лицу – для меня

большая радость, сильно меня трогает и оживляет» [2, 792]. – пишет Страхов Толстому. Открываться перед Толстым «как на духу» становится жизненно необходимым для философа. «Ваша внутренняя жизнь всегда меня очень интересует и представляется мне значительной очень, несмотря на внешнее ее однообразие [2, 1004], – пишет Толстой Страхову. Толстой вдумывается «в те душевные особенности» друга, которые, как ему кажется, «он знает по себе» [2, 998]. И продолжает: «На то только мы, любящие друг друга люди, и нужны друг другу, чтобы общаться духом» [2, 698]. Необходимым становится не только обоюдное всматривание, распознавание внутреннего состояния, но и постоянное, заинтересованное обсуждение творческих достижений друг друга; требование не только похвал и лестных отзывов, коими изобилуют письма Страхова, но и жесткой критики и самокритики, на которой настаивает Толстой. Речь в данном случае идет не столько о внутренних совпадениях и согласованности «одних и тех же взглядов на жизнь» (в таком случае истинно творческого диалога, безусловно, не получилось бы), сколько о преодолении в переписке всякой умышленности, искусственности, этикетности, мешающей распознанию «чужого» и «родного», «сближающего» и «разделяющего». Тут мы имеем дело с особым уровнем переписки с ее внутренней интригой, раскрывающейся только в текстах писем. Проникновение в этот исповедальный, духовно-интимный слой переписки представляется нам первостепенным, так как позволяет неформально представить весь сложнейший комплекс идей и проблем, мучительно решаемых в этот переходный, кризисный для обоих период. Поиск и освещение духовно-нравственных основ жизни в доступных научному познанию пределах и рамках либо разрушение их и переживание этого процесса внутри себя и для себя – вот основная смысловая оппозиция, на которой выстраивается внутренняя коллизия переписки художника и ученого. Интенсивность и глубина внутренних исканий продиктована необходимостью обретения чувства истинности жизни, поиском «сердечного знания», исключая фальшь, искусственность, претенциозность, пафосность, «чуждость» которым ощущает и Толстой, и Страхов. «О, риторика! тебя ничем и никогда не выжить. Всегда только как редкое исключение будут некоторые *писать*, остальные же *сочинять* [1, 98], – писал Страхов Толстому. Сочинительство чуждо переписке, сориентированной на разговор о главном, существенном: «...сначала о так называемых делах, т.е. о пустяках, а потом не о делах, т.е. о существенном» [1, 14], так начинает одно из первых писем к Страхову Толстой. Существенным является вопрос о смысле жизни, путях его постижения и реализации. На протяжении всей переписки он остается стержневым и определяющим ее динамику. Специфику этого

судьбоносного для обоих диалога определяет то, что в нем участвуют глубоко симпатизирующие друг другу, близкие по мироощущению, но совершенно разные по натуре личности: активный, деятельный, бесстрашный субъективист-Толстой, для которого его «я», смысл его жизни становится отправным, и объективный мыслитель Страхов, для которого собственное «я» не представляет никакого интереса, а его личная жизнь никак не вписывается (поначалу) в русло столь важного разговора.

К началу переписки и Толстой, и Страхов – уже состоявшиеся творческие личности, за плечами которых почти 50 лет жизни; оба испытывают глубокую неудовлетворенность окружающим и собой; оба нуждаются в «задушевном» собеседнике, способном понять, проникнуть во внутренние переживания и размышления Другого. Абсолютная непохожесть Толстого и Страхова чрезвычайно важна для понимания творческой природы диалога, развития его внутренней коллизии, которая, собственно, и является главным предметом нашего осмысления.

К моменту переписки один, Н.Н. Страхов, – профессиональный философ-естественник, уже написавший книгу «Мир как целое. Черты из науки о природе», известный литературный критик, вынужденный зарабатывать журналистской деятельностью; петербургский интеллигент со своим кругом общения и образом жизни; ученый аскет (у Н.Н. Страхова никогда не было ни жены, ни детей); спокойный мудрый созерцатель, аналитик, «стоящий около «вечных истин»; человек тихий, не рвущийся, не призывающий, не патетический, погруженный в мир книг, вечно читающий и вечно продумывающий и додумывающий чужие мысли, но составляющий, как отмечал В.В. Розанов, из всего этого «свою оригинальную, неповторимую, внешне неяркую мыслительную вязь»<sup>13</sup>. Отмечаемая Розановым «способность рассматривать чужие труды в отношении к самим писателям, как показателей их внутреннего настроения»<sup>14</sup>, не раз выделялась и Толстым. Важно для нас, что именно эта способность погружаться «в чужое» делает Страхова идеальным собеседником, прежде всего заинтересованным в *понимании* другого. Однако эта черта, столь ценимая Толстым, удовлетворяет его лишь до определенного момента. Если бы Страхов остался на позиции только восторженного поклонника, смиренного слушателя и объективного созерцателя, то истинный диалог между ними наверняка бы не состоялся. Хочется отметить еще одно замечательное качество, позволившее Страхову-мыслителю вступить в столь длительное и плодотворное общение с Толстым: это его необыкновенное художественное чутье, позволяющее охватывать интересующее его целостно, в полноте. Именно целостность художественного воплощения покоряет, удивляет, как чудо, и влюбляет Страхова-философа в Толстого-художника раз и навсегда. Не

менее важно, что Страхов одним из первых распознал в Толстом пытливого, самобытного и бесстрашного мыслителя, которого он никогда не отделял от Толстого-художника. Именно это понимание, несмотря на осознание выпирающего, подчас «голого нравоучения», «голого рассуждения», позволило Страхову воспринимать Толстого органично, не расчленяя его монолитную жизнетворческую сущность на несовместимые ипостаси. Другой, Л.Н. Толстой, к началу переписки – прославленный писатель, ведущий независимый и кажущийся нерушимым патриархально-усадебный образ жизни; человек активный, неутомимо деятельный, пробующий и проявляющий себя в разных жизненных и творческих ипостасях – помещика, семьянина, общественного деятеля, педагога, писателя. Важно, что к этому моменту Толстой уже пережил «арзамасский ужас», «заглянул в бездну», почувствовал глубокую неудовлетворенность от всей прожитой жизни и готов к внутреннему перевороту, о котором он сразу сообщает Страхову: «Я нахожусь в мучительном состоянии сомнений, дерзких замыслов невозможного и непосильного и недоверия к себе, и вместе с тем упорной внутренней работой» [1, 9]. Тем не менее, как отмечает Б.М. Эйхенбаум, творческим стимулом Толстого 70-х годов является «непрерывное вмешательство, непрерывное воздействие, непрерывная жизнеустроительная деятельность... до конца и без всякой боязни собственного дилетантизма»<sup>15</sup>, собственных, личных первооткрытий давно открытого, и при этом «безусловно-художественный гений», умудрившийся это «свое» – внутренне суверенное – сделать всеобщим, абсолютно интересным для всех. В искусстве это «я» и «мое» вбирает в себя все многообразие русского мира, о чем не раз и в разных формах писал и говорил Толстому Страхов. В частности, он писал: «Когда русского царства не будет, новые народы будут по «Войне и миру» изучать, что за народ были русские» [1, 98]. С самого начала переписки и непосредственного знакомства Страхова поразила «сила внутренней жизни» писателя: «Ваши мысли волнуют Вас так, как будто Вам не 50, а 20 лет...» [2, 530]. Вместе с тем жизнетворец, самодостаточный монологист Толстой, как никогда ранее, нуждался в собеседнике.

Таким образом, абсолютная непохожесть Толстого и Страхова не только не мешала диалогическим отношениям, но стала питательной почвой для их плодотворного развития. Страхов в своем исповедальном письме отмечал: «Присматриваясь к людям, я наконец замечаю и то, что в них много тех самых черт, которые я готов был считать своею особенностью, и тогда, *рассматривая себя в них* (курсив мой. – И.С.), начинаю смотреть на себя иначе, чем в том хаотическом и печальном «свете», в котором обыкновенно созерцаю собственную фигуру» [2, 543]. В своем

исповедальном саморазоблачении перед Толстым Страхов, по сути, определяет «механизм» творческих диалогических отношений: необходимость взглянуть на себя, самоопределиться через призму другого; увидеть себя в другом, чтобы вернуться к себе, чтобы окончательно ощутить свою самобытность. Внутренняя жизнь каждого, и Толстого, и Страхова, становится тем психологическим зеркалом, взглянув в которое, ощущаешь неистребимую потребность в самоанализе, в окончательной самопроверке и самоопределении. Именно поэтому Толстому 70-х годов нужен не только Страхов – проникновенный слушатель и умнейший собеседник, но и Страхов, исповедально саморазоблачающийся. Исповедальность становится, с нашей точки зрения, той внутренней основой, на которой и из которой вырастает все остальное, вся сложнейшая умственная и духовная работа каждого. Прежде чем определиться по отношению к окружающему миру, к науке, философии, искусству, религии, необходимо *самоопределиться*, и этому самоопределению способствует «погружение» в другого. Уникальность переписки в том, что она запечатлела не только толстовский путь к «Исповеди», но и «исповедальное развитие» Страхова. Это страховское исповедальное саморазоблачение инициирует Толстой, который и становится его «исповедником». Именно перед ним абсолютно не сосредоточенный на себе Страхов «омывает свою душу» и считает его «судьей, перед которым ни за что не хотелось бы провиниться» [2, 775]. Однако исповедальные признания Страхова не превращают мягкого и податливого Страхова в марионетку в «руках» мятущегося, мощно преобразующего себя и окружающее Толстого, но в определенном смысле укрепляют его духовно, помогают обрести внутреннее самостояние. В этом, думается, и заключается вся благотворная сила и тайна творческих диалогических отношений, столь ярко проявившихся именно в переписке.

#### Примечания

- <sup>1</sup> *Августин Аврелий*. Исповедь. Петр Абельяр. История моих бедствий. М., 1992. С. 111.
- <sup>2</sup> *Рабинович В.Л.* Урок Августина: жизнь – текст // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абельяр. История моих бедствий. М., 1992. С. 236, 257.
- <sup>3</sup> *Гинзбург Л.Я.* О психологической прозе. Л., 1971. С. 76.
- <sup>4</sup> *Кочеткова Н.Д.* «Исповедь» в русской литературе XVIII в. // На путях к разумному. Л., 1984. С. 71–99.
- <sup>5</sup> *Тынянов Ю.Н.* Литературный факт. М., 1993. С. 121–137.
- <sup>6</sup> *Лазарчук Р.Л.* Переписка Толстого с Т.А. Ергольской и А.А. Толстой // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 86.

<sup>7</sup> Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума. Л., 1974; Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVIII века. М., 1974; Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970.

<sup>8</sup> Гоголь Н.В. Авторская исповедь // Н.В. Гоголь. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 7. С. 434.

<sup>9</sup> Там же. С. 435.

<sup>10</sup> Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Н.В. Гоголь. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 7. С. 248–249.

<sup>11</sup> Там же. С. 249.

<sup>12</sup> Л.Н. Толстой и Н.Н. Страхов. Полное собрание переписки в двух томах. Группа славянских исследователей при Оттавском университете и Государственный музей Л.Н. Толстого, 2003. Т. 1–2. Далее цитируется том и страница в квадратных скобках.

<sup>13</sup> Розанов В.В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М.: Аграф, 2000. С. 17.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л.: Художественная литература, 1974. С. 29.